БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

А. Н. ПЫПИН.

А. С. ГРИБОЕДОВ.



ПЕТРОГРАД.
Книгоиздательство «СОТРУДНИЧЕСТВО».
1919.



2-я Государственная Тип. Красная ул., 1 (б. Галерная).

Лет двадцать пять тому назад вспоминалось пятидесятилетие кончины Грибоедова; приближается столетие со времени создания знаменитой комедии, составляющей славу этого писателя, и все еще нельзя сказать, чтобы его историческое значение было определено сполна. До последних лет велись толки о значении его важнейшего произведения, единственного, составляющего его великое литературное право—о художественных качествах „Горя от ума" и о смысле общественного взгляда, какой в нем выразился.

Неустановленность взглядов на „Горе от ума", впрочем, довольно понятна. Со времени своего появления оно возбудило величайший интерес, как первая, раньше и доныне беспримерная, попытка дать драматическую картину русской общественности в ее самых характерных чертах, и эта картина была исполнена с таким необычайным мастерством, что интерес пьесы остается почти неприкосновенным до сей минуты, и не только по историческому воспоминанию, но и по сохраняющейся доныне преемственности общественных нравов, понятий и столкновений. Но с тех пор и доныне произведение Грибоедова встречало разноречивые суждения с точек зрения, какие создавались движением литературных идей и общественности. В свое время комедия Грибоедова была необыкновенной новизной, не только по содержанию, на какое не рисковала тогдашняя литература (и долго не рисковала даже позднейшая), но и по форме и языку; она явилась как раз в ту переходную пору, когда в нашей литературе не разрешился еще вопрос о классицизме и романтизме и, с одной стороны, были крепки понятия о непогрешимости старой литературной традиции, а с другой—неясны были и

представления о той свободе, какой добивался для себя романтизм. Пьеса долго ходила по рукам, прежде чем могла появиться в печати, в 1833, почти сполна,—потому что настоящие полные издания комедии стали возможны не ранее 1860 годов. Первые разборы комедии идут с 1830 годов. Между тем старая литературная обстановка, среди которой явилось „Горе от ума" как „манускрипт", успела отойти в прошедшее; критика прилагала к этому произведению уже новые требования, возникавшие из иного порядка идей, а несколько позднее эти требования, в свою очередь, сменились другими представлениями, между прочим у тех самых людей, которые их прежде высказывали (как было с Белинским). Когда понятия старинного классицизма или старинного романтизма были сменены Гегелевской эстетикой, а затем, после Гоголя, в литературе все больше распространялись реалистические воззрения, и критика стала все больше обращать внимание на общественное содержание художественных произведений, то понятно, что смена всех этих точек зрения отразилась на суждениях о комедии Грибоедова. Если даже в последнее время повторялось обвинение против старой критики, и самого Белинского, в непонимании „Горя от ума", даже как будто в недоброжелательстве к знаменитой комедии, то главная доля неправильного понимания, примеры которого действительно бывали, должна быть приписана именно литературной эпохе, ее господствующим теориям и соединявшимся с ними предрассудкам. То же самое можно было видеть на оценке других великих деятелей нашей литературы, например самого Пушкина, даже на оценке целых литературных периодов. Литературная критика приходила наконец к убеждению, что значение великих явлений литературы становится тем яснее, чем больше определяется их историческое возникновение в общественной среде и затем расширяется их, так сказать, историческая проверка опытом позднейших поколений.

Другое обстоятельство, приводившее к большому разнообразию заключений о „Горе от ума", заключалось, во внешней

судьбе и произведения, и писателя. Прошло много времени прежде, чем комедия стала в ряд явных литературных фактов, и, с другой стороны, на Грибоедове в особенности оправдались старые слова о нем Пушкина: „мы ленивы и нелюбопытны“—„замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов“. Нет до сих пор обстоятельной биографии Грибоедова. Теперь мы имеем по крайней мере опыты, собираем материалы, спешим сохранить малейшие остатки его писаний, но что было пол-века тому назад или больше, когда ставились первые серьезные вопросы о значении великого произведения Грибоедова? Было несколько друзей, которые близко знали писателя, но их знание осталось бесплодно для литературы: никто из них не взял на себя труда или же не умел рассказать сполна, что знал. Еще в половине девятнадцатого столетия даже знаменитейшие имена нашей общественности и литературы бывали предметом устных преданий, чуть не мифологии. О Грибоедове также знали только немногое: была слава таланта, остроумия, оригинального характера, но не было понятия о действительной истории этого сильного ума, о котором современники говорили одними общими местами восхваления. Как вырос этот ум, какими впечатлениями окружен был писатель, как они действовали на него, что возбудило его творчество, какая господствующая идея была в его глубине,—на все эти вопросы могло ответить лишь само произведение; но полное понимание произведения возможно только при изучении развития и внутреннего мира писателя. И в литературе не свободной, существовавшей только с разрешения нередко крайне недоверчивой опеки, эта необходимость всестороннего изучения может быть еще настоятельнее. Этого изучения не было; поэтому для нас или навсегда потеряны, или могут быть только очень неполно, по отрывочным следам, восстановляемы процессы развития, исполненные величайшего интереса в таких оригинальных людях, как Грибоедов, и в такие смутные и неясные периоды нашей общественности, как последние годы имп. Александра I и первые годы царствования Николая I. Критики до послед-

них годов спорят даже о таких основных и вместе элементарных вопросах, как то, в чем заключалось мировоззрение Грибоедова, был ли это „европейский (?) либерал“, единомышленник людей двадцатых годов, или предшественник славянофилов, „русский человек“ (как будто остальные, и знаменитые, русские писатели были не русские) и т. д. О Грибоедове шли толки в современных литературных кругах и в обществе даже раньше, чем могла вызывать к тому его комедия: наличные силы были так немногочисленны, уровень литературы, когда только появлялись первые произведения Пушкина, был так невысок, что крупным казалось и то, о чем основательно забыло даже ближайшее поколение,—тем больше возбуждал интереса и заставил о себе говорить ум по истине выдающийся. Были и тогда серьезные запросы общественности; но им почти не было места в литературе, где еще спорили о самых формах, где продолжалось заимствование недостававших элементов „словесности“, едва завоевывалось первое право свободной поэзии, и где заботливая опека останавливала всякую несколько смелую мысль,—пьеса Грибоедова, появившаяся в рукописи, являлась событием.

В малой известности биографии заключается одна из причин недоразумения, в какое впадали и впадают историки Грибоедова. „Горе от ума“ было необычайным явлением и в истории русской литературы, и в деятельности самого писателя. Если, по всеобщему признанию, у нас до сих пор нет другой комедии, которая могла бы стать рядом с пьесой Грибоедова, то и среди его собственных произведений она остается единичным фактом, которому раньше ничто не предшествует и которое после не сопровождается ничем равносильным. Трудно об'яснить, как могла произойти такая одинокая вспышка великого дарования, о котором не дают понятия все остальные произведения писателя. Остается для об'яснения только сопоставить факты.

В ту пору, когда у нас вообще „учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь“, Грибоедов получил особливо тщательное образование; дома заботились об этом в видах будущей

карьеры; его наставниками были, повидимому, серьезные и достойные люди, впрочем, мало известные; перед 1812 годом он пробыл года два в московском университете. Необыкновенная даровитость помогла юноше овладеть несколькими языками (французский, немецкий, английский); впоследствии он с интересом и с удовольствием учится по-гречески. И в поздние годы его интересовала древность, русская история... Но семнадцатилетним юношей он уже покидает, и навсегда, домашний приют и вступает в самую настоящую действительную жизнь с ее обычаями, опасностями, тревогами и соблазнами. Это был Двенадцатый год. Грибоедов поступил в ополчение, в гусарский полк, который формировался графом Салтыковым, но за смертью последнего дело расстроилось, и Грибоедов перешел в другой полк, стоявший в западном крае. Здесь он очутился в самом омуте тогдашних военных нравов: он и после вспоминал, что в Брест-Литовске „весело пожилось", но в духе времени веселье было порядочно грубое и под-конец, кажется, оно ему опротивело. Затем, видим Грибоедова в Петербурге, он поступил на службу в министерство иностранных дел и вел опять рассеянную жизнь, с ее обычными тогдашними чертами, шумными удовольствиями, театральными похождениями, бреттерством и т. п. Он вошел в круг тогдашней образованной молодежи и в круг литературный. Старшее поколение Екатериненских времен сосредоточивалось в „Беседе"; более новое примыкало к Карамзину и собиралось в „Арзамасе"; наконец, молодое поколение либеральных романтиков к 1820 годам, под влиянием событий внешних и внутренних, все больше увлекалось в политический либерализм. Литературные вопросы и споры того времени, поверхностные на позднейший взгляд, слишком занятые внешнею формой, в свое время казались более серьезными. Литература едва начала выбиваться из прежней тяжелой условности, которая, сослужив свою службу в XVIII столетии, становилась помехой для более живого движения, для сближения литературы с общественной действительностью. Новая поэтическая форма, явно романтическое стихотворение,

переделка новой пьесы с французского, оригинальный оборот в прозе, смелый стих составляли предмет оживленных толков— в них чуяли новую литературную струю. С другой стороны, развивается новая черта—любовь к театру, особенно усилившаяся во втором и третьем десятилетии, чтобы стать потом постоянным общественным и литературным интересом. В те же годы распространяется стремление к практической общественной деятельности: подновляется старое масонское движение, где к прежнему мистическому и филантропическому содержанию прибавляется, в противоположность к старым мистикам, мысль о воздействии на нравственное воспитание общества. Политические вопросы времени, воспринятые в войнах за „освобождение Европы", примериваются к русской жизни; молодые люди записываются в масонские ложи (нового либерального направления), а затем придумывают по немецкому образцу „Союз Благоденствия": в первоначальной форме он был очень похож на планы масонской филантропии, но затем превратился в политическое тайное общество. Во всем этом было много юношеского, в политических и филантропических мечтаниях не мало наивного, но возникшее движение увлекало иногда молодые умы до страстного возбуждения. Все это свидетельствовало о брожении умов, какого русское общество еще не видало.

Это брожение трудно распределить на какие-нибудь определенные течения. Как бывает в подобные эпохи возбуждения, различные элементы смешиваются, так что одно лицо отдельными чертами, вкусами, действиями может принадлежать к направлениям, повидимому, разнородным: смешиваются литературный консерватизм и либеральные стремления и т. п.

В Петрограде Грибоедов знакомится с людьми самых разнообразных характеров, и может показаться удивительным, что он сходится сначала не с тем кругом, где можно было бы ожидать всего скорее его встретить. Его произведение было так оригинально и сильно, что повидимому его автор должен был стоять в рядах того самого движения, где совершались блестящие успехи Пушкина. Между тем он не сбли-

зился с Пушкиным, который познакомился с ним еще в 1817 году; напротив, по некоторым сведениям, хотя не вполне ясным, Грибоедов относился довольно несочувственно к тем корифеям литературы, с которыми Пушкин был более или менее близок, как, например, Карамзин, Жуковский, Гнедич. Грибоедов очень рано завязывает сношения с литературным кругом: еще из Брест-Литовска он посылал в журналы небольшие статьи, которые сделали его имя известным.

Сам Пушкин, жалевший о том, что память наших замечательных людей пропадает без следа, оставил о нем лишь несколько строк, вероятно, справедливых, но опять неясных и требующих комментария. „Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности... Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств“ и проч.

Все только намеки, которые не дают понятия о содержании мыслей, общественых взглядов Грибоедова, как не дают и рассказы других современников. В чем сказывался тогда, в 1817 году, „озлобленный ум“, против чего он направлялся и чего искал? Другие современники, превознося ум, просвещение, таланты Грибоедова, также мало раз'ясняют внутреннюю историю его сознания и творчества.

Из собственных сочинений Грибоедова, некоторых рассказов, случайных указаний, переписки известно только, что он каким-то образом если не примкнул сполна, то имел симпатии к староверческому литературному кружку, который имел своим представителем Шишкова. Соответственно этому он, с другой стороны, не сочувствовал Карамзину и его партизанам. Где был источник этих сочувствий к одной стороне и несочувствий к другой? Можно было бы думать, что здесь участвовали антипатии псевдо-классика к литературным

нововведениям: Грибоедов, в самом деле, воспитался под такими влияними во время своего учения, в своих занятиях с профессором Буле и др.; в числе его ближайших литературных друзей был Катенин, ревностный хранитель преданий французского псевдо-классицизма; сам Грибоедов пробовал свои силы на подобных темах; но, с другой стороны, Грибоедов так решительно отвергал обязательность литературных преданий и настаивал на полной свободе таланта брать форму, какую найдет для себя пригодной, что причина несогласия очевидно лежала не здесь. Могли здесь действовать, во-первых, простые обстоятельства времени и личных отношений, например, дружеские связи с кн. Шаховским, с которым он разделял любовь к театру: он принимал к сердцу интересы приятельского круга, вмешивался из-за них в полемические раздоры, пробовал даже выводить на сцену легкие насмешки над литературными противниками и т. п. Во-вторых,—и это было, кажется, главное,—Грибоедов расходился с патентованным кружком „Арзамаса" своими литературными вкусами и общественными запросами.

К сожалению и здесь скудные фактыне столько об'ясняют, сколько дают угадывать. Литературное воспитание Грибоедова прошло в ином кругу, чем тот, который действовал на Пушкина и его сотоварищей в искусственной атмосфере лицея и самого „Арзамаса", далеко от реальной жизни, хотя не от ее испорченности. Сам Грибоедов выростал в условиях не вполне здоровых, но, кажется, ближе к реальной жизни, как се создали исторические условия. По всей вероятности, идеальные задатки, полученные в его научной школе, в соединении с инстинктами благородного ума, внушили ему отрицательное отношение к духу застарелого барского холопства, которое он видел кругом, а вместе с тем заронили еще неясную, выражавшуюся отрывочно и неровно, но тем не менее несомненную любовь к народу и народной истории. В его письмах и заметках остались образчики его интересов в этой области, и могло быть, что присутствие этого элемента в его мыслях делало ему более сочувственным Шишкова,

чем Карамзина, заставляло предпочитать признаки хотя наивного, но искреннего влечения к народному, тем изысканным фразам, которые сами собой говорили об отсутствии простоты и, может быть, искренности.

Во время первого пребывания в Петрограде все это было еще мало заметно. Грибоедова в особенности занимал тогда театр. Интерес был естественный: при отсутствии настоящей общественной жизни театр представлял некоторое подобие ее, и Грибоедов тем больше вдался в специальность театрала, что ее разделяли приятели, кн. Шаховской, Катенин, Жандр, тогдашние театральные авторитеты. Он переводит и пишет пьесы один или в сотрудничестве с кн. Шаховским, Хмельницким, кн. Вяземским, его занимает, даже волнует, постановка пьес на сцене; он сходится с кружком актеров; присоединяются закулисные похождения и т. п.

Произведения Грибоедова за это время не выходят из шаблонного уровня тогдашней драматургии: это—переводы и переделки французских пьес, действующие лица называются неслыханными в русской жизни именами: Арист, Эльмира, Сафир, или Блестов, Звездов, Алегрин и т. п.; проблески живого дарования и иногда черты настоящей русской жизни не устраняют общего впечатления чего-то искусственного и мало интересного. В одной пьесе из этой поры, „Студент“, была попытка (быть может, по примеру, данному раньше Шаховским) затронуть тогдашние литературные отношения, а именно задеть если не самый романтизм и сентиментальность, которых не были чужды и его собственные произведения той поры, то некоторых представителей этого направления, к которым он лично не был расположен или даже враждебен, как Жуковский (которого перед тем осмеивал друг Грибоедова, кн. Шаховской, в пьесе „Липецкие воды“), Батюшков, Гнедич, Загоскин. Главное лицо, на котором вертится действие пьесы, есть студент Беневольский, глупый стихоплет, который говорит фразами и стихами названных сейчас писателей и над которым все смеются, как над шутом. Но и эта пьеса по тогдашнему обычаю наполнена условными фигурами,

далека от жизни, и остроумие натянутое. Не легко предста вить себе, что автором был тот же Грибоедов, который уже вскоре явился творцом комедии, производившей поражающее впечатление. Под стать этим пьесам, не превышавшим самого обыкновенного уровня, Грибоедов вмешивается в мелкие полемические споры, принимает горячо к сердцу маленькие уколы своему писательскому самолюбию, запальчиво отвечает своим противникам и т. п.

Но среди литературной рутины, где Грибоедов выделялся только личной живостью ума, скрывались черты будущей могучей оригинальности. Он был тогда еще очень юным. В 1815 году, когда он приехал в Петроград ему было всего двадцать лет. В наше время, при новейших способах „серьезного“ обучения, молодые люди в эту пору едва получали „аттестат зрелости“ ценою многолетнего долбления Кюнера и едва получали право начать образование университетское. При первом знакомстве Пушкина и Грибоедова (в 1817)—одному было восемнадцать лет, другому двадцать два! Батюшков был уже на службе в пятнадцатом году,—и так было не только с людьми особенных дарований, но и люди обыкновенные раньше становились членами общества и были едва ли глупее нынешних сверстников, бородатых гимназистов восьмого класса... Жизнь начиналась раньше, и новые поколения вносили в общественную среду больше молодого увлечения, идеальных интересов и приобретали больше знания жизни. Но, с другой стороны, молодость брала свое: она должна была перебродить, и эта пора брожения еще продолжалась в жизни Грибоедова в Петрограде с 1815 года; его первые литературно-драматические опыты были только ученическими упражнениями и вместе развлечениями в веселом дружеском кружке. Для историка литературы интерес заключается здесь не в том, какие, мало любопытные, пьесы он писал, в какие вступал отношения, ничем после не отразившиеся, а в том, чтобы рассказать, какими начатками сказывалось в эту пору направление, в котором развилось впоследствии его дарование, как подготовлялось содержание, с

которым мы только и понимаем позднейшего Грибоедова. Нет сомнения, что автор „Горя от ума“ подготовлялся уже в ту пору, когда мы видим его пока автором заурядных пьес и стихов. Какие же намеки на это могут найтись в существующем биографическом материале?

Начать с того, что Грибоедов повидимому еще из своей научной школы, из лекций и бесед классика и эстетика Буле, Страхова, Шлёцера-сына, вынес серьезную историческую любознательность: русская история занимала его не только в общих, но и в частных вопросах; он читал источники, редко интересовавшие „литераторов“, и его уцелевшие заметки указывают довольно значительную литературу, которую он перечитывал. Правда, отчасти по тогдашнему вкусу, эти исторические заметки Грибоедова относятся большею частью к подробностям археологии, мало важным для об'яснения основных вопросов истории; но по другим намекам можно думать, что его интерес не ограничивался этими частностями, что перед ним рисовалась живая старина, в которую он вкладывал идеалистические представления о народной славе. В письме из Киева к кн. В. Ф. Одоевскому, 1825 года, он говорит: „Я в древнем Киеве... здесь я пожил с умершими: Владимиры и Изяславы совершенно овладели моим воображением, за ними едва вскользь заметил я настоящее поколение“, и проч. В другой раз князь Владимир вспоминается ему во время путешествия по Крыму, где в развалинах Херсонеса Грибоедов старается угадать место, где стоял Владимир, где он построил церковь, припоминает слова летописи и т. д. Сохранились отрывочные заметки Грибоедова об истории Петра Великого, вызванные чтением „Деяний“ Голикова; их относят к 1822 году. В это время с разных сторон возникало критическое, отрицательное отношение к Петровской реформе. Впервые началось оно еще в восемнадцатом веке; но эти старые нападки на Петра, как, например, в изданных теперь сочинениях кн. Щербатова, едва ли были известны Грибоедову, как, вероятно, не была известна записка о древней и новой России Карамзина. Критическое

отношение к Петру в двадцатых годах у Грибоедова, как позднее у Пушкина, возникало независимо и исходило из других оснований.

Пушкин, сначала поклонник Петровской реформы, потом изменил свои взгляды. Петр Великий уничтожил значение старинного боярства и созданием аристократии чиновнической подорвал то благотворное действие, какое, по мнению Пушкина, могла бы иметь настоящая родовая аристократия, богатая, просвещенная и независимая. Отсюда нерасположение и даже настоящее раздражение против Петра, как вредного „революционера". Едва ли такова была точка зрения Грибоедова. В заметках его из „Деяний" Голикова собираются в особенности факты сурового уничтожения старых обычаев, самоуправства, ненужной и несправедливой жестокости. В путевых заметках по Кавказу ему, неизвестно почему, вспоминается опять Петр: „чтобы русских к чтению приохотить, Петр велел перевести Пуфендорфа, который русских не на живот, а на смерть бранит". Грибоедова видимо возмущало именно ненужное нарушение народного обычая, допущение этой брани и осмеяний русского народа; дозволение в русской книге слов Пуфендорфа и т. п. казалось оскорблением национального достоинства, как таковым же казался „дух слепого рабского подражания", начинателем которого казался, повидимому, Петр. Что это осуждение Петровской реформы не было похоже ни на Карамзинское, ни на славянофильское отрицание, в этом нет сомнения. Грибоедов не желал ни того приниженного состояния народа, которое лежало на дне Карамзинских мечтаний, ни сомнительного возвращения „назад домой", когда наше отечество „было более предано восточным обычаям". Далее увидим, как высоко ценил Грибоедов необходимость просвещения, серьезно воспринятого, источник которого был возможен только один—общение с образованием европейским.

В данную минуту Грибоедов восставал против преклонения пред иноземцами; он не терпел „немцев", как не терпели их (не без оснований) другие патриоты. Это было точно

физиологическое отвращение. В путевых заметках по Кавказу (1819), по поводу встреч и сношений с восточными людьми, которые и ныне пребывают на Кавказе в весьма первобытном состоянии, а тогда тем паче, Грибоедов пишет следующую заметку, любопытную опять по взгляду на русскую старину.

„Разгоряченный тем, что видел и проглотил, я перенесся за двести лет назад в нашу родину. Хозяин представился мне в виде добродушного москвитянина, угощающего приезжих из немцев, фараши—его домочадцами, сам я—Олеарий. Крепкие напитки, сырые овощи и блюда с сахарными брашнами, все это способствовало к переселению моих мыслей в нашу седую старину, и даже увертливый красный человек, который хотя и называется англичанином, а право, нельзя ручаться, из каких он,—этот аноним только рассыпался в келейных рассказах о том, что делается за-морем; я видел в нем Маржерета, выходца при Дмитрие, прозванном Самозванцем, и всякого другого бродящего иностранца того времени, который в наших теремах пил, ел, разживался и, возвратясь к своим, ругательством платил русским за русское хлебосольство. И эриванский Маржерет... язвительно отзывается насчет персиян, которые не допускают его умереть с голоду“.

Он замечает тут же, что „в каком бы виде оно ни было, гостеприимство должно притупить стрелы насмешливых наблюдателей“,—но если встречается не одно гостеприимство? и можно ли совсем устранить впечатление виденного и испытанного? В рассказе самого Грибоедова гостеприимно встречавшие его персияне все-таки изображены мало симпатичными дикарями.

Преследуя иноземцев в русской старине, Грибоедов еще больше не терпит их в современной жизни. Забавен рассказ (в письме к Бегичеву, 1818) о путешествии его вместе с сослуживцем, Амбургером, которого Грибоедов хотел уверить в непохвальности его немецкого происхождения. „Вообще,—пишет Грибоедов с дороги,—везде на станциях остановка; к счастию, что мой товарищ—особа прегорячая, бич на смотрителей, хороший малый, я уже уверил его, что быть немцем

очень глупая роль на сем свете, и он уже подписывается Амбургев, а не р и вместе со мною немцев ругает наповал, а мне это с руки". Он прибавляет вслед затем: „Один том Петровых акций у меня в бричке, и я зело за него и на его колбасников сержусь: коли найдешь что-нибудь чрезвычайно забавное в „Деяниях", пожалуй напиши, я этим воспользуюсь".

Откуда эта нелюбовь к „немцам"; чем именно они мешали и т. п.? Враждебное чувство к „немцам" сказывалось тогда у многих патриотически настроенных людей и относилось особенно к наплыву немцев в военной и гражданской администрации, имевшему действительно свои неблагоприятные стороны. Немцы-администраторы были чужды русской жизни, часто относились к русскому обществу и народу с высокомерным пренебрежением, выводили своих и т. п. Таким ненавистником немцев был, напр., Ермолов, в котором и Грибоедов удивлялся необычайно светлому и простому уму; рассказывают анекдот о том, как Ермолов, когда ему предлагалось какое-то повышение, просил только произвести его в немцы, так как после этого ему нечего будет хлопотать о своей карьере. Великую ненависть к немцам питал, напр., известный этнограф Сахаров, уже в совершенно первобытной форме, напоминающей ненависть к немцам у пьяницы сапожника, изображенного в „Мертвых душах". Но известно также, что не все же влиятельные посты были в руках немцев и во второй половине царствования Александра I самый сильный человек, Аракчеев, был самый русский. Подобную ненависть возбуждали в себе в начале столетия и французы; эта ненависть считалась долгом для истинного патриота. Она была понятна в двенадцатом году; но вражда к „галломании" в русском обществе еще со второй половины XVIII века вызывала в нашей литературе ожесточенные нападения на самих французов—от Сумарокова и фон-Визина до Шишкова, Ростопчина („Мысли вслух на Красном Крыльце", 1807), Акима Нахимова, Сергея Глинки и т. д.; вражда, как у Ростопчина, доходила до прямых, весьма нелепых, ругательств.

Это считалось выражением патриотического и национального чувства; но понятно, что этим одним трудно было достигнуть какого-нибудь положительного результата, и действительно, такого рода патриотические чувства выражались также самыми несомненными обскурантами... К сожалению, мысли Грибоедова об этом предмете известны только в подобных отрывках и полу-шутовских анекдотах; надо думать, что серьезное основание заключалось в желании бо́льшей самостоятельности для русских общественных сил—как надо об'яснять и филиппики против иноземцев в устах Чацкого. Подтверждение этому найдем в других сторонах взглядов и стремлений Грибоедова.

Его патриотизм не был одним инстинктом, или только подчинением общему потоку массы или призыву властей: он не подчинялся мнениям толпы, не успокаивался на данных рамках общественной жизни и литературы, но вместе с тем его критический взгляд на вещи был умеренный и спокойный, и он не был политическим мечтателем. В уцелевших отрывках его поэтических замыслов можно увидеть глубокое недовольство существующим характером общества, которое, однако, распоряжалось судьбами государства и народа. Таков сохранившийся план исторической драмы или хроники: „1812-ый год",—план, который считали возможным относить к первому времени после событий знаменитой эпохи. Как бы то ни было, когда бы Грибоедов ни составлял этот план драмы, в нем любопытна основная мысль, в которой отразились его личные опыты и общественные взгляды. И это последнее произведение сохранилось для нас опять только в скудных очертаниях, в сущности только в намеках,—потому что самый план очень краток. Двенадцатый год оставил в современной литературе замечательно малый след, не отвечающий его историческому значению. Он был, конечно, „воспет", но воспевание в громадном большинстве случаев свидетельствовало о дурном литературном вкусе и затем выразило только элементарный мотив—патриотическую радость об изгнании врага из пределов отечества; при этом обыкновенно самое дело

нагромождается преувеличенной реторикой и почти не затрагиваются ни внутренние факты общественного возбуждения, ни оборотная сторона событий. Грибоедову предмет представился именно с его народно-общественной стороны. С первой предположенной сцены его хроники перед зрителем или читателем драмы открывалась реальная картина исторической минуты: „Красная площадь.—История начала войны, взятие Смоленска, народные черты, приезд государя, обоз раненых, рассказ о битве Бородинской. М* с первого стиха до последнего на сцене. Очертание его характера"; затем в фантастическом видении являлись на сцене „тени давно усопших исполинов" от Святослава до Петра, присутствие которых указывало на великое значение совершающихся событий. Дальше, Наполеон в Кремле, размышляющий „о юном, первообразном сем народе, об особенностях его одежды, зданий, веры, нравов; сам себе преданный, что бы он мог произвести?" Далее изображение пребывания французов в Москве, „всеобщего ополчения без дворян", преследования французов. В эпилоге две картины, во-первых: „Вильна. Отличия, искательства, вся поэзия великих подвигов исчезает. М* в пренебрежении у начальников. Отпускается во свояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию"; во-вторых: „Село, или развалины Москвы. Прежние мерзости. М* возвращается под палку господина, который хочет ему сбрить бороду. Отчаяние... самоубийство".

Этот М*, появляющийся во все течение драмы, есть очевидно ополченец из крепостных; он совершает высокие подвиги мужества, которые в конце концов навлекают ему только пренебрежение начальства, не избавляют от возвращения „под палку господина", в результате—отчаяние и самоубийство. Факт—не единичный: после великих событий „вся поэзия подвигов исчезает", и начинаются „прежние мерзости". Очевидно, в этом печальном выводе—основная мысль драмы, и ничего подобного мы не находим в современной Грибоедову литературе.

В параллель к этому, в случайных заметках, где мы должны искать задушевных мыслей Грибоедова и коммента-

риев к „Горю от ума", встречаем выражения сочувствий к народу и народности, опять непохожие на то, что находим у его современников, даже у самого Пушкина.

В небольшой статье: „Загородная поездка", где описывается ближайшая, парголовская окрестность Петрограда, Грибоедов встретил неожиданный эпизод народной жизни—род песенного и мимического представления старинного удальства. Среди нероскошного пейзажа петроградской природы послышались звучные плясовые напевы.

„Родные песни!—восклицает Грибоедов.—Куда занесены вы с священных берегов Днепра и Волги?.. То место было уже наполнено белокурыми крестьяночками в лентах и бусах; другой хор из мальчиков; мне более всего понравились у двух из них смелые черты и вольные движения. Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами (?); народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Еслибы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами.

„Песни не умолкали; затянули: Вниз по матушке по Волге; молодые певцы присели на дерн и дружно грянули в ладоши, подражая мерным ударам весел; двое на ногах оставались: атаман и есаул. Былые времена! как живо воскрешает вас в моей памяти эта народная игра: тот век необузданной вольности, в который несколько удальцев бросались в легкие струги, спускались вниз по протоку Ахтубе, по Бузан-реке, дерзали в открытое море, брали дань с прибрежных

городов и селений, не щадили ни красоты девичьей, ни седины старческой, а, по словам Шардена, в роскошном Фируз-Абате угрожали блестящему двору шаха Аббаса. Потом, обогатясь корыстями, несметным числом тканей узорчатых, серебра и золота, и жемчуга окатного, возвращались домой, где ожидали их любовь и дружба; их встречали с шумною радостью и славили в песнях".

Прекрасна, без сомнения, возможность единения с народом, о которой помышлял Грибоедов, единения в обычаях и нравах, в поэтических воспоминаниях и т. п.; в былые времена это единение существовало,—но в данном случае воспоминание Грибоедова восхищалось веком „необузданной вольности", попросту разбоя, который в эти былые времена, заметим, направлялся не только на чужих, но также и на своих, и указывал страшный общественный разлад, шедший, наконец, на ножи; а „любовь и дружба", ожидающие разбойников дома,—карамзинская идиллия в несколько неожиданном применении. До-Петровское государство, так же как и позднейшее, вовсе не мирилось с этою „вольностью", старинное боярство и служилые люди не были тут в единении с народом; напротив, между ними шла настоящая война...

Понятно, что, передавая эти неожиданные впечатления русской народной жизни, Грибоедов не думал вникать в подробности и ставить исторический вопрос; он высказывал только общее впечатление разлада, разработать которое в теорию предоставлено было последующим поколениям—славянофильству и народничеству; но вопрос: как с этим быть?—остается неразрешенным. Во всяком случае, он не разрешался ни неопределенным негодованием, ни сантиментальными самообольщениями...

„Грибоедов любил простой народ,—рассказывает один из его друзей,—и находил особое удовольствие в обществе образованных молодых людей, не испорченных еще искательством и светскими приличиями. Любил он и ходить в церковь. „Любезный друг,—говорил он:—только в храмах божиих собираются русские люди; думают и молятся по-русски.

В русской церкви я в отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Димитрие Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве; что то же пение одушевляло набожные души. Мы—русские только в церкви,—а я хочу быть русским"... Говорят дальше, что Грибоедов „уважал и иностранцев, особенно посвятивших себя служению России"; наконец, что он „любил более всего славянские поколения и считал их одною семьею".

Из приведенных примеров можно только вывести, что мысль Грибоедова была направлена серьезнее, чем у большинства тогдашних писателей, занятых вопросами поэтического диллетантства, и, между прочим, направлена была на положение общества относительно народа. Была одна группа нового поколения, с которой мысли Грибоедова в этом отношении значительно совпадали...

Из того же времени осталось в письмах Грибоедова несколько отзывов о тогдашней литературе и обществе. Выше упомянуто, что в молодые годы Грибоедов, особливо по театральным связям, втягивался в мелкую литературную суету, придавал значение полемике, вертевшейся на пустяках, но к тому времени, когда шла и завершалась работа над „Горем от ума", встречаемся с серьезным настроением, с глубоким недоверием к данному состоянию литературы, даже враждебным пренебрежением; мелкие интересы ее казались ему нестоющими внимания. В январе 1825 г., в письме к Бегичеву он так выражается о литературном круге, в котором бывал в Петрограде. „Вчера я обедал со всею сволочью здешних литераторов. Не могу пожаловаться, отовсюду коленопреклонения и фимиам, но вместе с этим — сытость от их дурачеств, их сплетен, их мишурных талантов и мелких их душишек. Не отчаявайся, друг почтенный, я еще не совсем погряз в этом трясинном государстве". В письме к князю В. Ф. Одоевскому он говорит: „...Только я не разумею здесь полемических памфлетов, критик и антикритик. Виноват, хотя ты за меня подвизаешься, а мне за

тебя досадно. Охота же так ревностно препираться о нескольких стихах, о их гладкости, жесткости, плоскости; между тем тебе отвечать будут и самого вынудят за брань отплатить бранью. Борьба ребяческая, школьная. Какое торжество для тех, которые от души желают, чтобы отечество наше оставалось в вечном младенчестве!!!" — „У Грибоедова,—говорит один близкий к нему современник,—навертывались слезы, когда он говорил о бесплодной почвѣ нашей словесности. Жизнь народа, как жизнь человеческая, есть деятельность умственная и физическая; словесность — мысль народа об изящном. Греки, римляне, евреи—не погибли от того, что оставили по себе словесность, а мы... мы не пишем, а только переписываем! Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали и что могли бы сделать! Рассуждая о сих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм".

Не высоко было мнение Грибоедова и о русском обществе: это—общество тупое, лишенное идеалов, не умеющее ценить людей, которые служат его лучшим интересам, погрязшее в ограниченном материальном быту. В декабре 1826 он пишет к своему другу Бегичеву: „Буду ли я когда-нибудь независимым от людей? Зависимость от семейства, другая от службы, третья от цели в жизни, которую себе назначил, и может статься наперекор судьбе. Поэзия!! Люблю ее без памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить? И наконец, что слава? По словам Пушкина...

Лишь яркая заплата
На ветхом рубище певца.

„Кто нас уважает, певцов, истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? Все-таки Шереметев у нас затмил бы Омира... Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием; но всех равнодушнее наши сардары: я думаю даже, что они их ненавидят. Voyons ce qui en sera"...

„Читай Плутарха и будь доволен тем, что было в древности. Ныне эти характеры более не повторятся".

Но опять трудно из этого восстановить с некоторой точностью его мировоззрение. Его собственные указания, сохранившиеся в письмах, слишком отрывочны; современники, его близко видевшие, говорят о его „здравых суждениях", „остроумии", „особенном даре убеждать", „горячих речах" и т. д.; но кроме нескольких общих и частию безразличных примеров не говорят, куда направляется этот дар убеждения, пылкость речей и необыкновенный ум. Между тем, как уже видно из нескольких образчиков в его письмах, взгляды Грибоедова действительно отличались и силою, и оригинальностью... Между прочим, в одном письме к Бегичеву из Феодосии, в сентябре 1825, брошено замечание, исполненное глубокого смысла и которое редко кому приходило в голову в обычных толках о нашей цивилизующей миссии на Востоке. Он передает свои впечатления при осмотре Өеодосии, древней Кафы. „Чудная смесь вековых стен прежней Кафы и наших однодневных мазанок! Отчего, однако, воскресло имя Феодосии, едва известное из описаний древних географов, и поглотило наименование Кафы, которая громка во скольких летописях европейских и восточных? На этом пепелище господствовали некогда готические нравы генуэзцев, их сменили пастырские обычаи мунгалов с примесью турецкого великолепия; за ними явились мы, всеобщие наследники, и с нами—дух разрушения; ни одного здания не уцелело, ни одного участка древнего города не взрытого, не перекопанного. Что-ж? Сами указываем будущим народам, которые после нас придут, когда исчезнет русское племя, как им поступать с бренными остатками нашего бытия".

„Дух разрушения", к сожалению, действительно слишком часто сопровождал наше движение и на восток, и на запад. В прежнее время он был внушаем национальной нетерпимостью, переходившей нередко всякие пределы, и патриархальным состоянием умов; впоследствии не было даже и этого мотива, и разрушение совершалось по духу канцелярской и

фрунтовой одноформенности. Неуважение к личности, развивавшееся в домашних отношениях, переносилось в широких размерах и на вновь приобретаемые земли и народы; поселялась ненужная вражда, которая препятствовала слиянию, и которой можно было бы в значительной мере избежать. Любопытно, что Грибоедов возвращался к этому предмету и в оффициальной записке 1828 г. по поводу проектированной русской торговой компании на Кавказе: он надеялся, что только этим мирным путем „исчезнут предрассудки, полагавшие резкий рубеж между нами и подвластными нам народами“. И, в других случаях, в письмах из Персии он указывает на необходимость „правосудия“ для того, чтобы внушить покоренным народам Кавказа доверие к русской власти и способствовать их сближению с русским государством и народом...

Рядом с подобными отрывками мыслей Грибоедова о нашей общественности и литературе, в его письмах изредка разбросаны мысли о собственной деятельности. Если его глубоко возмущало в русском обществе неуважение к умственным силам, в сущности оберегающим его же человеческое достоинство, и возмущал жалкий состав нашей литературы, то в словах его о себе высказывается обыкновенно недовольство самим собой, стремление к чему то высокому, гораздо более крупному, чем то, что он видел вокруг себя и что делал сам в данную минуту. В черновом наброске, писанном после 1823 года, повидимому, среди работы над „Горем от ума“, Грибоедов так говорит о своем произведении: „Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь, в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишет для сцены: Расин и Шекспир подвергались той же участи,— так мне ли роптать?“ Он знает, что истинно-художественная вещь приобретает тем большую силу, когда не все договари-

вает, когда немногие сильные черты возбуждают самодеятельность читателя или зрителя: „в превосходном стихотворении,— говорит он,—многое должно угадывать, не вполне выраженные мысли или чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно,—для этого с одной стороны требуется художественное дарование, с другой—восприимчивость; но можно ли требовать этой восприимчивости от толпы, особливо в случайностях театральной постановки?

Чрезвычайно любопытно замечание, что план „Горя от ума“ был „гораздо великолепнее и высшего значения“, чем получило оно в его сценической форме. Кроме этих слов мы ничего не знаем о первоначальном замысле комедии, но из слов Грибоедова можно заключить, что гораздо шире предполагалось именно общественное значение задуманного произведения.

В письме к Бегичеву от августа 1824 г. находим рассказ об одном эпизоде продолжительной работы Грибоедова над своим произведением. Оно давалось ему вообще не легко; много раз он его сильно переделывал, изменял, сокращал, писал вновь и т. д.; постоянно сказывается мысль, что это все-таки не совсем то, чего бы он хотел и на что считал себя способным.

„...Не могу в эту минуту оторватьси от побрякушек авторского самолюбия. Надеюсь, жду, указываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем..., сержусь и восстановляю стертое, так что, кажется, работе конца не будет; ...будет же, добьюсь до чего-нибудь; терпение есть азбука всех прочих наук; посмотрим, что Бог даст. Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли решишся: он так не совершенен, так не чист; представь себе, что я слишком восемьдесят стихов, или, лучше сказать, рифм переменил, теперь гладко, как стекло. Кроме того, на дороге при-

шло мне в голову приделать новую развязку; я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидал свою негодяйку, со свечею над лестницею, и перед тем, как ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались, в самый день моего приезда, и в этом виде читал ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гр. и Булг., Колосовой, Каратыгину, дай счесть — 8 чтений, нет, обчелся, — двенадцать; третьего дня обед был у Столыпина, и опять чтение, и еще слово дал на три в разных закоулках. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет. Шаховской решительно признает себя побежденным (на этот раз). Замечанием Виельгорского я тоже воспользовался. Но, наконец, мне так надоело все одно и то же, что во многих местах импровизирую,—да, это несколько раз случилось, — потом я сам себя ловил, но другие не домекались. Voilà ce qui s'appelle sacrifier à l'intérêt du moment. Ты, бесценный друг мой, насквозь знаешь своего Александра; подивись гвоздю, который он вбил себе в голову, мелочной задаче, вовсе несообразной с ненасытностью души, с пламенной страстью к новым вымыслам, к новым познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным. И смею ли здесь думать и говорить об этом? Могу ли прилежать к чему-нибудь высшему? Как притом, с какой стати, сказать людям, что грошевые их одобрения, ничтожная славишка в их кругу не могут меня утешить? Ах! прилична ли спесь тому, кто хлопочет из дурацких рукоплесканий?"

Дальше любопытно письмо к Катенину в январе 1825 г. по взглядам Грибоедова на план и исполнение его комедии. Письмо Катенина, на которое отвечал Грибоедов, кажется, не сохранилось; из ответа видны замечания Катенина: они касались плана, в котором Катенин, с привычной формальной точки зрения, находил крупную погрешность, касались портретности лиц и т. п. Грибоедов об'яснял этот план очень просто, как в наше время об'ясняет его критика: это именно — драматическое развитие внутреннего противоречия главного героя с окружающим, противоречия, испытанного им в лич-

ных отношениях к любимой девушке, и в отношенях общественных, где он осыпает обличениями погрязшее в застарелой пустоте и рутине общество, а последнее в отместку предает его анафеме и об'являет сумасшедшим. На обвинение в портретности Грибоедов отвечает:

„Да! и я, коли не имею таланта Мольера, то, по крайней мере, чистосердечнее его; портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии; в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на всех своих двуногих собратий. Каррикатур ненавижу; в моей картине ни одной не найдешь. Вот моя поэтика... Одно прибавлю о характерах Мольера: Мещанин в дворянстве, Мнимый больной—портреты, и превосходные; Скупец—антропос собственной фабрики и несносен".

Любопытен еще ответ на замечание Катенина, находившего в пьесе „дарования больше, нежели искусства". „Самая лестная похвала,—говорит Грибоедов,— которую ты мог мне сказать; не знаю, стою ли ее? Искусство в том только и состоит, чтоб подделываться под дарование, а в ком больше вытверженного, приобретенного потом и мучением искусства угождать теоретикам, т.-е. делать глупости, в ком, говорю я, более способности удовлетворить школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям, нежели собственной творческой силе,—тот, если художник, разбей свою палитру, и кисть, и резец, или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитрости? Nugae difficiles. Я как живу, так и пишу свободно и свободно".

Понятно, что портретность, о которой говорит Грибоедов, весьма не похожа на ту, какая бывает в ходу, напр., в новейших произведениях нашей беллетристики, где к ней прибегают за скудостью фантазии и знания жизни. Грибоедов не искал портретов для портретов и „ненавидел каррикатуры"; в его воображении носилась целая картина общества—не мудрено, что она наполнялась и живыми лицами, которые

служили ему только как типы, как характерные образчики целого ряда других подобных лиц. Биографы Грибоедова и исторические критики его комедии проводят перед нами галлерею лиц, более или менее известных в свое время, которые послужили оригиналами для „Горя от ума"; но из всей пьесы видно, что эти лица, в большинстве очерченные только немногими стихами, дают в сущности не „портреты", а именно характерные лица общества, где они были только единицами из многих, были „типами", которых тогда не умели назвать.

То, что говорит Грибоедов о даровании и искусстве, опять могло бы предотвратить многие недоумения, которые возникали впоследствии относительно формы его произведения. Строгий классик Катенин, очевидно находивший в пьесе мало „искусства", и позднейшие романтические критики, и сам Белинский судили пьесу по тем привычным требованиям, каким научились каждый в своей школе. Грибоедов был прав в своем об'яснении плана и в отрицании школьных требований и „бабушкиных преданий". Свою пьесу он не раз называет именно не комедией, а „драматической картиной", и очевидно требовал себе, и вообще, свободы формы, лишь бы она отвечала поэтическому замыслу; а в замысле была прежде всего картина нравов в исторической противоположности и борьбе двух поколений. Эта форма была бы столько же законна, как драматическая поэма или шекспировская хроника; но присутствие драматического развития могло удовлетворить и требованиям собственно „комедии», чего не умели понять и не хотели признать многие из ее прежних критиков.

Продолжительная работа над „Горем от ума" показывает, что Грибоедов одушевлен был высоким представлением о задачах художественного произведения, врывающегося в общественную жизнь. Его письма из этой поры свидетельствуют, что часто овладевало им сомнение в своих силах, недовольство окружающим и самим собою, жалобы на тоску и ипохондрию, и рядом сознание, что он мог бы сделать гораздо больше, чувство своего превосходства—настроения,

нередкие, понятные и законные у людей сильного ума и дарования. В письме к Бегичеву из Симферополя, в сентябре 1825 г., он жалуется, что почти три месяца живет в Тавриде, и в результате нуль—ничего не написано. „Не знаю, не слишком ли я от себя требую? Умею ли писать? Право, (это) для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется что сказать—за это ручаюсь; отчего же я нем? Нем, как гроб“! Его удручает то, что он не может найти уединения, которого ищет. Известность автора Фамусова и Скалозуба на всякой продолжительной остановке привлекает к нему кучу новых знакомых, приятелей, осаждающих любезностями, и он приходит к убеждению, что самая лучшая жизнь—на перекладных, где он остается один с своими мыслями и фантазией... „Но остановки, отдыхи двухнедельные, двухмесячные для меня пагубны; задремлю, либо завьюсь чужим вихрем, живу не в себе, а в тех людях, которые поминутно со мною, часто же они дураки набитые. Подожду авось, придут в равновесие мои замыслы беспредельные и ограниченные способности. Сделай одолжение, не показывай никому этого лоскутка моего пачканья, я еще не перечел, но убежден, что тут много сумасшествия“. В письме от апреля 1827 г. Грибоедов пишет: „Не ожидай от меня стихов: горцы, персияне, турки, дела управления, огромная переписка нынешнего моего начальника поглащают все мое внимание. Не надолго, разумеется: кончится кампания, и я откланяюсь. В обыкновенные времена никуда не гожусь: и не моя вина; люди мелки, дела их глупы, душа черствеет, рассудок затмевается и нравственность гибнет без пользы ближнему. Я рожден для другого поприща“.

Таковы немногочисленные прямые данные о внутренней жизни Грибоедова, какие можно извлечь из его собственных показаний и из свидетельств ближайших друзей. Остаются сочинения; из них только „Горе от ума“ дает об этом интересные указания. Но вследствие того, что все это вместе

оставляет многое невыясненным, самое „Горе от ума“ стало предметом разноречивых толкований.

С первого появления пьесы и почти доныне были спорными несколько весьма важных вопросов. Во-первых, вопрос о художественном значении этого произведения, и, во-вторых, связанный с этим вопрос об его основной идее, об общественных взглядах писателя.

Белинский в первую пору своей деятельности резко высказывался против „Горя от ума“, как комедии; по его мнению, произведение Грибоедова не выполняло основных условий этой художественной формы, и „Горе от ума“ он называл не комедией, а сатирой, которая по его тогдашним эстетическим понятиям стояла вне области настоящего искусства. Свою мысль Белинский подтверждал подробным разбором пьесы, в которой находил крупные недостатки в плане и подробностях, в характерах и положениях. Его взгляды на пьесу Грибоедова были потом не однажды повторены в русской критике и в первый раз были устранены — думаем, окончательно—в статье Гончарова: „Мильон терзаний“. Неодобрительные отзывы Белинского о художественной стороне „Горе от ума“, о мнимых ошибках в плане, в определении характеров, в изображении главного лица, были устранены этой статьей, где автор, следя ход пьесы шаг за шагом, выяснил логическую связность ее построения и подробностей действия, вытекавших из самой сущности отношении героя к его среде.

Должно сказать однако, что первое отрицание указанного взгляда сделано было самим Белинским, когда к концу 1841 г. в нем совершился известный поворот от признания „разумной действительности“ к страстной защите общественного идеала. С той резкой непреклонностью, какая его отличала, Белинский в письме от конца того года осудил известную статью о Менцеле и статью о Грибоедове, которые были им написаны в настроении его гегелианского консерватизма: . . . „Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всею искренностию, со всем фанатизмом дикого

убеждения". Всего больше печалила его грубая выходка против Мицкевича „в гадкой статье о Менцеле";—„после этого, всего тяжелее мне вспомнить о „Горе от ума", которое я осудил с художественной точки зрения, и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это—благороднейшее, гуманическое произведение, энергический (и при том еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против... светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр. и пр. и пр.".

Статья Гончарова, без сомнения, памятна читателям, и нет надобности повторять ее содержание, но в литературе снова возникал вопрос об отношении Белинского к произведению Грибоедова—и рядом с этим вопрос об общественных взглядах самого Грибоедова.

Дело ставится приблизительно так. Пьеса Грибоедова представляет собой, по своей основной мысли, выражение „настоящего русского" чувства в виду тех уродливостей, в какие впадало русское общество под влиянием увлечения иноземным. Комедия Грибоедова была взрывом негодования против этого забвения наших национальных особенностей и достоинства, и вместе с тем была отрицанием пустого или поверхностного либерализма. Белинский был „западник"; ему должно было не нравиться это господствующее направление пьесы, и он отнесся к ней с тенденциозной нетерпимостью и непониманием. Мнения, высказанные Белинским по поводу пьесы, доходили до настоящей нелепости, и их пора отвергнуть, как вообще пора бы отвергнуть в нем многое другое.

Что во взглядах Белинского бывали ошибки и притом не только в каких-нибудь отдельных суждениях, а в целом понимании вещей, в самых основах его понятий об обществе, о значении даже крупнейших литературных явлений, и что с развитием его идей он сам видел прошлые ошибки и не колебался сознавать и отвергать их, это слишком известно из его биографии и самых сочинений. Исторический интерес его деятельности заключается, между прочим, именно в этом

развитии его понятий от одних исходных точек и положений к другим, которое было вместе историей целой группы лучших людей поколения 40-х годов. С тех пор, как стало возможно историческое изучение Белинского, т. е. с половины 50-х годов, этот факт указывался всеми, кто говорил о его биографии и истории его общественных и литературных понятий . . „ Оглядываясь на те или другие мысли, высказанные им пол-века тому назад, не трудно увидеть и мелкие и крупные заблуждения, даже простодушные ошибки „наивной души“ (как называли его уже ближайшие современники, бывшие в известном смысле его учениками), но указание ошибок в двенадцати томах имело бы смысл и было бы нужно только тогда, когда была бы дана оценка целого труда,—при этом здоровая критика прежде всего указала бы на те великие приобретения для нашей литературы и то возвышенное нравственное значение, какими исполнен этот труд. В частности, относительно „Горя от ума“, ошибка той точки зрения, какую заявлял Белинский, как было сейчас указано, была отвергнута самим Белинским, и согласно с его новой точкой зрения художественное значение „Горя от ума“ вполне выяснено Гончаровым.

В новейшем обзоре истории „Горя от ума“, отрицательное отношение Белинского к этому произведению ставится в связь с теми мнениями, какие были высказаны при первом (рукописном) появлении пьесы *). В 1820-х годах мнения о пьесе резко разделились. Против нее восстал в „Вестнике Европы“ Михаил Дмитриев, литературный и иной консерватор, который в то же время был и противником Пушкина. Дмитриев осуждал комедию и с точки зрения формы, так как она нарушала обычный шаблон псевдо-классической комедии, и по содержанию: он защищал то общество,

*) Первые отрывки из „Горя от ума“, именно несколько явлений первого действия и третье действие, с цензурными сокращениями, явились в альманахе Булгарина „Русская Талия“, 1825 г. Первое издание целой пьесы, но цензурно сокращенное, явилось уже только в 1833 году. На сцене она явилась впервые в начале 1831 года.

которое подвергалось осмеянию в комедии. Против Дмитриева выступили „Московский Телеграф“ и „Сын Отечества“, которые одобряли самостоятельность Грибоедова в постройке пьесы, хвалили язык, характеры и идею. Понятно, что суждения о комедии вращались особенно на определении Чацкого. По мнению Дмитриева, это было лицо почти невозможное: он только злословит, говорит что ни придет в голову, даже грубые дерзости. „Естественно, что такой человек наскучит во всяком обществе, и чем общество образованнее, тем он наскучит скорее. Чацкий есть не что иное, как сумасброд, который находится в обществе людей совсем не глупых, но необразованных, и который умничает перед ними, потому что считает себя умнее; следовательно, все смешное на стороне Чацкого! Он хочет отличаться то остроумием, то каким-то бранчивым патриотизмом перед людьми, которых презирает. Словом Чацкий, который должен быть умнейшим лицом пьесы, представлен менее всех рассудительным! Это Мольеров Мизантроп в мелочах и каррикатуре.. Мудрено - ли, что от такого лица (т. е. Чацкого) разбегутся и примут его за сумасшедшего“?

Впоследствии, очень похоже на это говорит о Чацком Белинский. И по его словам, это—„просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать дураками и скотами — значит быть глубоким человеком?... Это новый Дон-Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади... Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, сказавший, что это горе—только не от ума, а от умничанья. Искусство может избрать своим предметом и такого человека, как Чацкий, но тогда изображение долженствовало бы быть об‘ективным, а Чацкий—лицом комическим (?); но мы ясно видим, что поэт не шутя хотел изобразить идеал глубокого человека в противоречии с обществом, а вышло Бог знает что“. В плане комедии Белинский находил недостатки, как и в исполнении. Было, конечно, странно и наивно,—как об‘ясняет новейший

историк „Горя от ума",—что Белинский не мог понять любви Чацкого к Софье; так как „любовь есть взаимное, гармоническое разумение двух родственных душ, в сферах общей жизни, в сферах истинного, благого, прекрасного", а этого по комедии не выходило между героем, наполненным возвышенными мыслями, и героиней, способной влюбиться в ничтожного Молчалина, следовательно девицей совершенно пустой. Белинский забыл, что в простой обыкновенной действительности, по пословице сатана может полюбиться пуще ясного сокола. Но Белинский недоволен в Чацком и другими чертами: каково бы ни было содержание его обличительных речей, Белинскому кажутся они неуместными по ходу пьесы и по тем лицам, к которым обращены.

Мы укажем дальше, как могло произойти, что мнение Белинского о Чацком совпадало отчасти с отзывом такого устарелого литературного деятеля, каким был Михаил Дмитриев; но историк „Горя от ума" припоминает, что до Белинского не вполне благоприятный отзыв о Чацком сделал сам Пушкин, а позднее князь Вяземский. Могло быть, что в отзыве Пушкина, сохранившемся в письме к А. А. Бестужеву от января 1825 г., сказалось недостаточное знакомство с пьесой Грибоедова, прочитанной в рукописи и потом не имевшейся под руками (сам Пушкин упоминает здесь, что некоторые замечания пришли ему в голову после, когда он уже не мог справиться); во всяком случае, от него не скрылись блестящие стороны комедии; но любопытно, что, хотя бы при первом чтении, осталось у него то самое впечатление о „непростительной" неуместности речей Чацкого в обществе, собравшемся в доме Фамусова,—впечатление, которое имел потом Белинский. Князю Вяземскому Чацкий просто кажется „бешеным"... Таким образом, в этом отношении впечатление Белинского было не единичное, и что оно не было произвольное, он проводит свои доказательства. Может быть, эти доказательства потеряют часть своей силы при ближайшем рассмотрении предмета, но может быть также, что другая доля их не лишена основания.

Взгляд Белинского на „Горе от ума“ и его главного героя об'ясняют его „предвзятым (?) публицистическим задором“. Белинский был „выразителем либерального негодования против Чацкого и намеренно, с этой задней мыслью, старался уничтожить это лицо, провозгласить его фразером и мальчишкой. Совсем не критико-литературные цели руководили Белинским, а цели политической пропаганды (?) против слишком русских идей, против, если хотите, идей славянофильства и в пользу безусловного перенесения европеизма на русскую почву“. Но мы видели, что дело было как раз наоборот: Белинский осуждал „Горе от ума“, когда был в консервативном направлении, и превозносил его, когда перешел к „либеральному“ настроению.

Не говоря опять о том, что весьма близкое (хотя бы на деле и неточное) впечатление характера Чацкого, кроме Белинского, появилось у людей весьма несходных понятий, как М. Дмитриев, Пушкин, кн. Вяземский, которых нельзя было бы обвинять в „политической пропаганде“, — простые вышеприведенные факты не допускают подобного толкования. Статья Белинского, из которой берутся цитаты, была самая обширная статья и единственная, специально посвященная Грибоедову, потому что позднее Белинский упоминал о нем только мимоходом; но эта статья относится к 1840 году, именно к той поре, когда Белинского никак невозможно было обвинить в „предвзятом“ либерализме. Совсем напротив. Время, когда написана статья о Грибоедове, было отмечено тем предвзятым консерватизмом, который еще в Москве извлечен был им и его друзьями из Гегеля, и в духе которого Белинский незадолго до разбора „Горя от ума“ писал известные статьи о Менцеле и Бородинской годовщине, возмутившие настоящих тогдашних либералов, и о которых сам он после не мог слышать. Либерализм Белинского тогда еще не наступил. С другой стороны, достаточно взглянуть на статью Белинского в целом составе, чтобы видеть, что исходною точкой, с какой он приступал к „Горю от ума“, была вовсе не общественная тенденция, а тенденция чисто эстетическая. Вся статья зани-

имеет 97 страниц и только последние 22 страницы из нее посвящены собственно разбору „Горя от ума". Чем же наполнено это введение, занимающее три четверти статьи? Идет речь о теории искусства, и все длинное введение наполнено об'яснениями в духе гегельянской эстетики, об'яснениями разделения поэзии на три ее главные отрасли, и особенно ее драматической формы, трагедии и комедии, „действительности разумной" и „действительности призрачной" и т. д.—словом, Белинский является здесь тем отвлеченным эстетиком, витающим в формулах немецкой философии, для которого основным и единственным вопросом было об'яснение общих художественных оснований поэзии. Достаточно прочитать статью сполна, чтобы видеть, что Белинский и не помышлял ни о каких иных соображениях, кроме чисто эстетических, и здесь нет ни „либерального" негодования, ни „политической пропаганды". Самый разбор „Горя от ума"—исключительно эстетический. Считая пьесу не комедией (художественным произведением), а сатирой (произведением нехудожественным, по его мнению), Белинский доказывает не-художественность пьесы особливо тем, что если, например, в „Ревизоре" каждое действующее лицо высказывает себя каждым своим словом, но совсем не с целью высказываться, а принимая необходимое участие в ходе пьесы, то в „Горе от ума", напротив, писатель не выдерживает об'ективности, необходимой для художества, и именно не раз влагает в уста выведенных им лиц свои суб'ективные мысли и обличения, — аргумент не столь ничтожный, как может показаться. Но с другой стороны, вне этого недостатка, или неловкости, формы, Белинский самого высокого мнения о произведении Грибоедова; мало того, он восторгается им, как одним из величайших произведений русской литературы. Указывая первое впечатление, произведенное „Горем от ума", он об'ясняет, почему оно было принято с враждою и ожесточением писателями и публикой, воспитанными на застарелом и мертвом классицизме. „Комедия Грибоедова, во первых, была написана не шестиногими ямбами, с пиитическими вольностями, а вольными стихами, как до того писались одни басни;

во-вторых, она была написана не книжным языком, которым никто не говорил, которого не знал ни один народ в мире, а русские особенно слыхом не слыхали, видом не видали, но живым, легким разговорным русским; в-третьих, каждое слово комедии Грибоедова дышало комическою жизнию, поражало быстротою ума, оргинальностью оборотов, поэзиею образов, так что почти каждый стих в ней обратился в пословицу или поговорку"... В конце статьи Белинский говорит: несмотря на свои художественные недостатки, пьеса Грибоедова есть „в высшей степени поэтическое создание, ряд отдельных картин и самобытных характеров, без отношения к целому, художественно нарисованных кистию широкою, мастерскою, рукою твердою, которая если и дрожала, то не от слабости, а от кипучего, благородного негодования, с которым молодая душа еще не в силах была совладеть". Или: Грибоедов принадлежал к самым могучим проявлениям русского духа. В „Горе от ума" он является еще пылким юношею, но обещающим сильное и глубокое мужество, младенцем, но младенцем, задушающим, еще в колыбели, огромных змей, младенцем, из которого должен явиться дивный Иракл"... Произведение Грибоедова „есть произведение таланта могучего, драгоценный перл русской литературы".

Если Белинский не сочувствовал чему-нибудь в речах Грибоедовского героя по существу, как, например, тем стихам, где рекомендуется, между прочим, учиться у китайцев „мудрому незнанью иноземцев", то здесь трудно видеть какую-нибудь определенную тенденцию, враждебную „русскому" направлению Грибоедова: самое направление успело высказаться в „Горе от ума" не совсем ясно, и китайское незнанье иноземцев в общераспространенных понятиях не считалось особенно мудрым, китайский застой, китайская неподвижность уже тогда были ходячим термином, и свойство, ими выражаемое, не считалось ведущим к просвещению. Что касается общего смысла комедии, то очевидно, что Белинский против него вовсе не спорил, если побуждения автора считал „кипучим, благородным негодованием"; по мнению Белинского,

комедия Грибоедова „заклеймила остатки XVIII-го века, дух которого бродил еще, как заколдованная тень, ожидая себе осинового кола, которым и было „Горе от ума“. Новое поколение вскоре не замедлило об'явить себя за блестящее произведение Грибоедова“. Как видим, в этом пункте мнение Белинского не только не совпадало со взглядами Дмитриева, но было им совершенно противоположно.—В конце концов, уже вскоре, Белинский, как мы видели, совсем и навсегда отрекся от своих эстетических осуждений и признал в „Горе от ума“—„благороднейшее гуманическое произведение“.

В чем же именно заключалось общественно-политическое мировоззрение Грибоедова? Выше указаны немногие черты его мнений, какие сохранились в его письмах; основным материалом остается все-таки „Горе от ума“, то произведение, которое почти десять лет занимало его мысли, возбуждало творческую работу его фантазии, было его любимым детищем и стало его правом на историческую славу. С первого появления комедии и доныне было ясно, что по складу понятий Чацкий есть отражение самого Грибоедова, и что если мы хотим выяснить общественные идеи Грибоедова, мы должны обратиться к изучению Чацкого. Новейшая критика прямо ставила вопрос: что такое Чацкий—либерал или славянофил?

Наиболее точным определением общественных взглядов Грибоедова—Чацкого была биография, составленная Алексеем Веселовским. Его положения оспариваются, как положения „партийные“, но странно, наконец, высматривать партии в оценке столь давнего исторического факта, как „Горе от ума“. Слово „партия“ имеет слишком определенный смысл политической солидарности и правоспособности, чтобы его можно было серьезно применять к нашей литературе, и совсем неприложимо ко взглядам историко-литературным, которые могут бывать весьма различны даже у членов одного и того же литературного круга, как и бывало... А Веселовский указывает на близкие связи Грибоедова с тем молодым образованным кругом, из среды которого вышли впоследствии так-называемые декабристы. В письмах Грибоедова остались следы этих дружеских связей;

особенно нежная дружба привязывала его к одному из наиболее симпатичных лиц этого круга, князю А. И. Одоевскому. Что именно в этом круге могли развиться те общественные стремления, какие Грибоедов высказал впоследствии устами своего героя, в этом едва ли может быть сомнение: другого круга, где бы ставились подобные вопросы, не было, и сношения Грибоедова с ним были так известны, что Грибоедова сочли нужным (хотя совсем понапрасну) привезти с фельд'егерем с Кавказа для допросов по делу декабристов. Эти сношения не имели бы смысла, Грибоедов не столько дорожил бы ими [1]), если бы они не обозначали нравственной связи, единодушия в общественных понятиях. В опровержение этого, противопоставляют то поколение двадцатых годов, как „либералов", „западников", и Грибоедова, как „славянофила", который „не пощадил и либералов", и говорят, что если нынешние „либеральные" критики (как Алексей Веселовский, вслед за Белинским), перетолковывают идеи Чацкого и исключают из них, как „балласт", его выходки против европейского костюма, его „архаизм" и т. п., то это делается „как бы для примирения либералов, безусловных (?) поклонников запада, с личностью Чацкого".

---

[1]) В указанных выше цитатах читатель найдет отзывы Грибоедова об Одоевском, исполненные самой нежной привязанности, как и сам Одоевский „страстно любил Грибоедова". Напомним одно из лучших стихотворений Грибоедова, посвященное уже много позднее этому другу и вызванное какой-то вестью об опасности, ему грозившей:

„Я дружбу пел... Когда струнам касался.
Твой гений над главой моей парил,
В стихах моих, в душе тебя любил
И призывал, и о тебе терзался!...
О, мой Творец!... Едва расцветший век
Ужели ты безжалостно пресек?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого от любви моей сокрыла?"

К этому же другу относятся слова в письме к г-же Миклашевич, писанном 3 декабря 1828 года, в последние дни жизни Грибоедова. С „Александром" (Одоевским) случилась или ему грозила какая-то беда...

Во-первых, не знаем, где в современной жизни и литературе есть „безусловные“ поклонники запада,—их просто не существует; во-вторых, к тому времени, которому принадлежит произведение Грибоедова, обозначения „либерализма“ и „славянофильства“ в их нынешнем смысле вовсе не применимы. В те годы общественная мысль была разбужена почти впервые; она была в состоянии брожения, где невозможно было бы разграничить ее оттенки по тем направлениям, которые сложились только позднее—к тридцатым и сороковым годам. Что такое были Карамзин и Сперанский; князь Голицын с Аракчеевым и Магницким, и Шишков; „Арзамас“ с Пушкиным и друзья последнего из будущих декабристов и т. д.? Карамзин был собственно „западник“ и „республиканец“, но вместе русский консерватор; мистики были в известном смысле тоже западники, но вместе несомненные обскуранты, в чем с кн. Голицыным или Магницким мог соперничать их страшный враг, самый русский, архимандрит Фотий; „русский“ гр. Ростопчин был друг иезуитов, зловредно путавшихся в русскую жизнь; точно также „западниками“ были и либералы, но они думали, например, о необходимости освобождения крестьян, чего не думал „русский“, даже церковнославянский Шишков, и в политических фантазиях виделся им Новгород с его „вольностью“ и т. п. Шишков представляется как бы начинателем славянофильства, но он не в состоянии был как-нибудь формулировать своих взглядов, и в общественных предметах был просто приверженцем патриархальных порядков доброго старого времени, как за них же стояли, с одной стороны, Карамзин, а с другой—Аркачеев.

„Неужели я для того рожден,—пишет Грибоедов,—чтобы всегда заслуживать упреки за холодность (и мнимую притом) за невнимание, за эгоизм от тех, за которых бы охотно жизнь отдал. Александр наш что должен обо мне думать!.. Александр мне в эту минуту душу раздирает. Сейчас пишу к Паскевичу; коли он и теперь ему не поможет, провались все его отличия, слава и гром побед; все это не стоит избавления от гибели одного несчастного и кого же! Боже мой, Пути твои неисследимы“ (Изд. 1889, I, стр. 329—330).

Если, наконец, мы станем отыскивать в этой путанице мнений ту группу, к которой всего ближе может подойти мировоззрение Грибоедова-Чацкого, с его несомненной любовью к просвещению, с его отрицанием застарелого себялюбивого и рабского, хотя и барского, невежества, с его стремлением к каким-либо сознательным интересам общественной самодеятельности,—этой группой может быть только тот кружок молодых „либералистов“, с которыми соединяла его близкая дружба. Указывают два обстоятельства, которые повидимому, противоречат такому заключению. Во-первых, Грибоедов не имел общего с политическими затеями будущих декабристов; но он „знал их всех“, как и Пушкин, и если, опять как Пушкин, не был участником последнего нелепого заговора, то стоял на одной почве с ними по общественным интересам и по вражде к застою, в который он вбивал „осиновый кол“. Едва ли сомнительно, что многие из „декабристов“ были далеки от убеждения в необходимости крайних действий и были вовлечены в них лишь роковыми обстоятельствами... Во-вторых, Грибоедов-Чацкий был „славянофил“, ненавидел иноземцев, мешавшихся в русскую жизнь, восставал против реформы, нарушившей старые обычаи, желал даже „мудрого незнанья иноземцев“; Грибоедов, как выше сказано, „любил славянские поколения“ и мечтал о славянском единстве,—но подобный „архаизм“ бывал в мечтах самих „либералистов“, напр., Рылеева, Пестеля, Никиты Муравьева, которым старина, не тронутая реформой, даже Москвой, рисовалась в завлекательных картинах народной „вольности“, и Грибоедов-Чацкий только распространил эту черту; известно также, что любовь к славянским поколениям была и у декабристов, среди которых было целое общество „Соединенных Славян“. Драматическая пьеса не была местом для изложения публицистических теорий, но во всяком случае в роли Чацкого, по самому замыслу поэта, должен был быть намек на его общественные понятия. В отрицательной своей стороне это публицистическое указание достаточно ясно (Чацкому помогли здесь все: и Фамусов и Скалозуб, и Молчалин, и бальные гости), но едва ли ясна

сторона положительная. Белинский говорил о „сбивчивости“ и „неясности“ основной идеи Грибоедова и не совсем ошибался. Понадобились долгие комментарии, чтобы выяснить теоретическое основание идей Чацкого, и споры доходят до нашего времени. Должно предполагать, что Грибоедов желал для русского общества самобытного образования и обычая; но обличение фраков и совет о незнании иноземцев далеко не разрешали вопроса о том, как добыть эту самостоятельность. Нравы русского общества, против которых ратует Чацкий, были унаследованы от истории; глупое увлечение „иностранным“, т.-е. собственно французскими модами в высшем классе, обличались еще сатириками XVIII-го века, было следствием недостатка серьезного образования,—и этому недостатку не помогло бы китайское незнание иноземцев: оно повело бы только к увеличению невежества, потому что в условиях нашей истории знание приходило к нам только от иноземцев, и не только от „французиков из Бордо“. Нельзя поэтому удивляться, что „славянофильская“ или „настоящая русская“ доля в проповеди Чацкого могла оставлять впечатление неясности или балласта. По впечатлению Гоголя, Чацкий „показывает только стремление чем-то сделаться“. Позднейшие славянофилы, вооруженные гораздо большим знанием истории и положившие больше труда, чем мог Грибоедов, на теоретическое раз'яснение (при помощи Шеллинга, а, главное, Гегеля) вопроса о нашей самобытности, в течение нескольких десятков лет не одолели, однако, этой задачи...

Если нам говорят, что Грибоедов „не мог без критики относиться к теоретическим идеям либерализма и не мог не сознавать, что русскому человеку, усвоившему европейское образование, надо думать и действовать самостоятельно, вырабатывая свободу лиц, сословий и учреждений собственным умом, сообразно коренным основам русской жизни“, то для последних заключений в речах Чацкого нет никаких определенных указаний, и в теоретических идеях либерализма самостоятельность русской мысли и общества именно была pium desiderium.

Гончаров хорошо об'яснил внутреннее строение пьесы Грибоедова, ее цельность, характеры и т. д.; от него не скрылись и некоторые угловатости, которые приводили в недоумение прежнюю критику. Он указывает, что в комедии Грибоедова отошло в историю, и что остается в ней до сих пор живым, сохраняющим доныне общественный интерес. Мы сказали бы только, что автор несколько преувеличивает анахронизмы комедии для настоящего времени. Он думает, например, что „такой Скалозуб, такой Загорецкий невозможны даже в дальнем захолустье“; напротив, тип невежественного фрунтовика, конечно не в мундире времен Александра I, достаточно распространен и по настоящую минуту, и мнение о необходимости сожжения книг разделяется и ныне преемниками Скалозуба. Гончаров об'яснил и то, почему тип Чацкого и вся комедия Грибоедова, несмотря на их анахронизмы, продолжают жить в руках читателей и на сцене. Чацкий не представляет какой-нибудь законченной программы: основной мотив его мысли и чувства—восстание против отживающей, но еще сильной, лжи и стремление к просвещению и свободе.

„Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

„Он—вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: „один в поле не воин“. Нет воин, если он Чацкий, и притом победитель, его передовой воин, застрельщик и всегда жертва.

„Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. Положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу.

„Всеми ими управляет одно: раздражение при различных мотивах. У кого, как у Грибоедовского Чацкого, любовь, у других самолюбие или славолюбие, но всем им достается в удел свой „мильон терзаний“, и никакая высота положения не спасает от него. Очень немногим, просветленным, Чацким дается утешительное сознание, что они не даром бились,

хотя и бескорыстно, не для себя и не за себя, а для будущего и за всех, и успели..,

„Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого, и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела—будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне — ни группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета: „учиться, на старших глядя", с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к „свободной жизни" вперед и вперед—с другой".

В числе таких исторических повторений Чацкого Гончаров припоминает человека, которого сам близко знал—Белинского: „прислушайтесь к его горячим импровизациям — и в них звучат те же мотивы и тот же тон, как у Грибоедовского Чацкого. И также он умер, уничтоженный „мильоном терзаний", убитый лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь уже не грезы больше".

Мы только думаем, что грезы еще остаются грезами и теперь, и время Чацких—не только в широком отвлеченном, но и в более тесном смысле далеко не прошло... Довольно оглянуться на ежедневные факты нашей общественной жизни, чтобы видеть, как много материала нашел бы новейший Чацкий для „раздражительных монологов"... Смысл произведения Грибоедова для нашего времени заключается вовсе не в какой-нибудь специальной славянофильской или „настоящей русской" общественной теории, а, как верно заметил Гончаров, в тоне, настроении его речей, в этом искании исхода из окружающего мрака к свету и свободе, в чем бы ни был этот мрак и этот исход для лучших людей данной эпохи...

В об'яснениях исторического значения „Горе от ума" забывается еще одна черта—то угнетенное состояние русской литературы, в котором для нее остаются недоступными именно самые животрепещущие вопросы нашей общественности: с двадцатых годов и до конца столетия не было другого драматического произведения, которое в живом действии театра раскрыло бы перед нами эту борьбу мрака и света. С каким жадным интересом общество видело бы современное „Горе

от ума“; но литература, то-есть само общество, ее создающее, бессильно, и мы рады, когда слышим по крайней мере намек на эту современную борьбу в великом произведении, хотя бы уже многое в его частностях стало анахронизмом.

Биографические данныя о Грибоедове:

Рождение—1795, 4 января, в Москве.

1810 или 1811, Гр. поступил в московский Университет по юридическому факультету; профессор истории и эстетики Буле давал ему частные уроки.

1812, январь, Гр. выдержал экзамен на кандидата и вступил корнетом в московский гусарский полк кн. Салтыкова, а затем, по смерти Салтыкова, в иркутский гусарский полк, стоявший в Западном крае.

1815, приезд в Петербург. Представление „Молодых супругов“, тогда же изданных (переделка из Secret du ménage, par Creuzé de Lesser)

1816, отставка из военной службы. Его имя в списках ложи Des amis réunis. К этому времени его друг Бегичев относит первый план „Горя от ума“.

1817, представление „Притворной неверности“ (переделка, вместе с Жандром, из Fausses infidelités, Барта). Поступление на службу в Коллегию иностранных дел. Дуэль Шереметева с Завадовским, где Гр. был замешан.

1818, представление „Своей семьи“, кн. Шаховского, где Грибоедовым написано пять сцен. Назначение секретарем посольства в Тегеране, выезд в Тифлис.

1819, приезд в Тегеран.

1821, в Тифлисе.

1823, с марта, четырехмесячный отпуск в Москву и Петербург, протянувшийся на два года. В 1823, отрывки „Горя от ума“ были читаны Бегичеву, и комедия стала распространяться в обществе.

1824, чтения комедии самим Гр. в литературном кругу.

1825, выезд из Петербурга на год, через Киев и Крым, на Кавказ.

1826, в январе приказ об аресте Гр. по его связям с декабристами. Рассказы об этих его отношениях разноречивы и пока еще не вполне выяснены. Привезенный курьером в Петербург, Гр. вскоре, после допроса, был освобожден, между прочим при покровительстве некоторых влиятельных людей. Весной жил на даче с Булгариным; летом должен был опять вернуться на Кавказ, где пользовался расположением Паскевича.

1827, в начале, отрешение Ермолова и назначение Паскевича главнокомандующим. Последний поручает Грибоедову заведывание дипломатическими сношениями с Турцией и Персией.

1828, в начале мир с Персией. Гр. опять едет в Петербург для представления имп. Николаю Туркманчайского договора, и вслед затем назначен полномочным министром в Персию. В июне отправился на Кавказ. В августе женитьба на кн. Чавчавадзе. В начале октября Гр. выехал в Персию.

1829, 30 января, Гр. убит в восстании черни в Тегеране.

